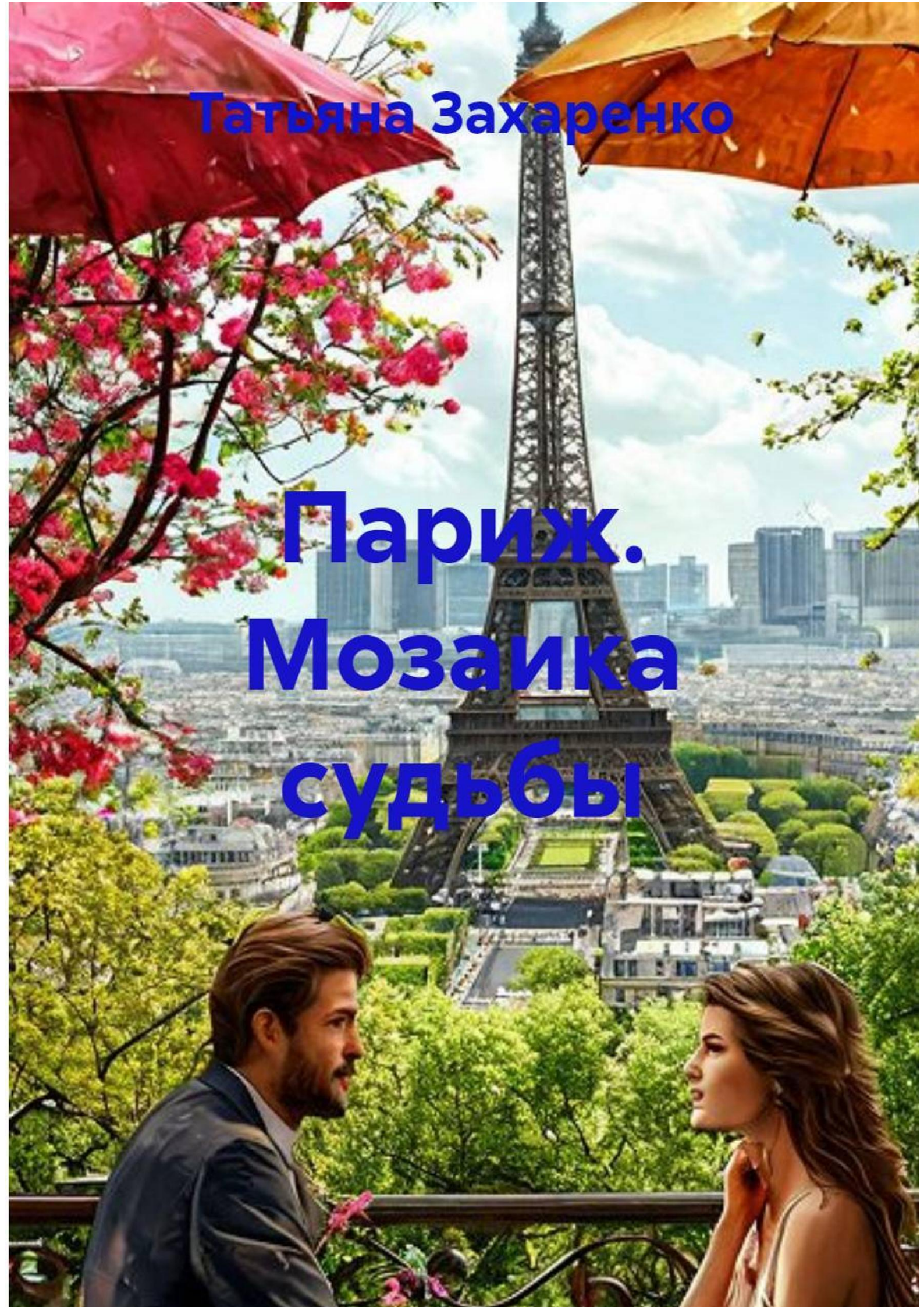


The background of the cover is a romantic Parisian scene. In the foreground, a man with a beard and a woman are seen in profile, looking at each other. They are standing on a balcony with a decorative metal railing. Behind them, the city of Paris is visible, with the Eiffel Tower as the central focus. The sky is blue with some clouds. In the top left corner, there are pink cherry blossom branches. Two large umbrellas, one red and one orange, are partially visible at the top of the frame.

Татьяна Захаренко

**Париж.
Мозаика
судьбы**

Татьяна Захаренко

Париж. Мозаика судьбы

«Автор»

2026

Захаренко Т.

Париж. Мозаика судьбы / Т. Захаренко — «Автор», 2026

Вера и Прохор прилетают в Париж в мае. Она — романтик, любящая искусство. Он — скептик-прагматик, за которым скрывается неожиданная глубина. Первый день становится проверкой отношений. Сквозной образ — зонтик из «Шербурских зонтиков», который Вера считает символом несбывшейся любви. Париж предстаёт живым: мокрая мостовая, запах Сены, золотистый свет над крышами, тишина, в которой герои наконец слышат себя. Второй день — Монмартр, погоня и встреча с тем, кто ждёт Веру. Третий день — музей в Биоте среди сосен. Вера открывает шкатулку, находит дневник Нади Леже, письма Марка Шагала и список украденный картин. Четвёртый день — развязка. Заметка о краже. Белова задерживают, Илза исчезает. Заказчик наблюдает. Вера и Прохор едут в Версаль. Пятый день — Изумруды для Веры, театр "Гарнье", Плафон Шагала, "Дама с камелиями", интриги Воронова. В городе, где мозаика складывается из света и осколков, Вера и Прохор понимают: их любовь — тоже мозаика, и чтобы засиять, её нужно собрать заново.

© Захаренко Т., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ	5
ДЕНЬ ВТОРОЙ	18
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Париж. Мозаика судьбы

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Весенний Париж. Первые впечатления

Париж встретил их маем. Настоящим, щедрым, даже расточительным в своей красоте.

В самолёте Вера думала, что увидит серое небо, прохожих в плащах, лужи на мостовых — как в старых фильмах, которые она так любила. Но Париж решил иначе. Он встретил их солнцем — лёгким, прозрачным, почти воздушным. Оно не пекло, а ласково золотило всё вокруг: мостовую, стены домов, черепичные крыши, которые Вера разглядывала из окна такси, прижавшись лбом к стеклу. Черепица была розоватой, тёплой, будто город только что проснулся и ещё не смыл с себя утреннюю дремоту.

Проход настоял опустить окна:

— Надо дышать Парижем, а не кондиционером.

И Вера была ему благодарна.

Она коснулась конверта в кармане. *«Приезжайте. Я покажу вам всё. У Нади была тайна, которую она прятала в икатулку»*, — написала ей Анна Теньё, внучка Нади Леже. Вера помнила эти строки наизусть. Теперь Париж был не просто городом мечты — он стал целью.

Вера знала о Наде Леже почти всё: год рождения, цвет глаз, имена мужей, названия картин. Чужая жизнь — как выученная поэма. Своя — как черновик. О Прохоре — почти ничего. Он никогда не рассказывал о прошлом. Не скрывал — просто считал его слишком простым для её мира.

«А если он прав? — мелькнуло. — Если там и правда ничего нет?»

Она мотнула головой. Не сейчас. Не в Париже.

Воздух оказался совсем не таким, как она ожидала. Не выхлопным, не суетливым, а сладковатым, с оттенком цветущих каштанов и свежей выпечки. Каштаны росли вдоль набережных, и их белые и розовые свечи горели на фоне голубого неба, как тысячи маленьких фейерверков.

— Господи, как красиво, — выдохнула Вера, глядя на длинные аллеи, где цветущие деревья склонялись над мостовой. Лепестки падали на тротуары, на машины, на головы прохожих — будто город устраивал собственный парад весны.

Магнолии, под стать каштанам, стояли во дворах — все в розовом цвету, будто кто-то рассыпал облака прямо на ветках. Сирень выглядывала из-за кованых ограждений, и её запах смешивался с ароматом кофе из уличных кафе.

Такси выехало на набережную, и Вера вдруг заметила то, от чего перехватило дыхание. Дома здесь были изящные, с высокими окнами почти в полный рост, в которые заглядывало утреннее солнце. Стёкла блестели, отражая голубизну неба и зелень каштанов, и казалось, что эти здания дышат — створки окон были распахнуты, на подоконниках стояли цветы в горшках, и ветер колыбал полупрозрачные занавески.

— Смотри, — Вера дёрнула Прохора за рукав. — Целые стены из окон.

— Красиво, — согласился он, тоже выглядывая в окно.

— И знаешь, — она задумалась, подбирая слова, — мне это что-то напоминает.

— Что?

Секунду она молчала, вглядываясь в знакомые очертания. Дома с лепниной, кованые решётки балконов, широкие проспекты, открывающие перспективу к воде — к Сене, которая текла неторопливо, величаво, как Нева.

— Так похоже на Питер, — сказала она наконец. — Не буквально, но есть в этом что-то узнаваемое. Те же широкие набережные, та же воздушность в архитектуре, те же дома с высокими рамами, та же освещённость. И вода, которая всё отражает.

— Париж и Петербург? — удивился Прохор. — Вроде бы разные города.

— А ты приглядишься, — Вера кивнула на проплывающий мимо фасад. — Классицизм. Те же колонны, те же портики, те же балконы с чугунным литьём. Пётр I, когда строил Петербург, ориентировался на европейскую архитектуру. На Амстердам, на Версаль и на Париж. Вот и получилось похоже.

Она помолчала и добавила, глядя в окно:

— Только здесь — другая вода. Сена — спокойнее, что ли. И солнце другое — золотистое, а не северное, прозрачное. И дома старше. В Петербурге всё строже, чётче. А здесь — какая-то небрежность, что ли.

— Ты у нас всё замечаешь, — улыбнулся Прохор.

Она посмотрела на розовые облака лепестков, кружившихся повсюду.

«Два города — как два брата, — подумала она. — Один строили как окно в Европу, а другой был этим окном всегда».

— Я просто смотрю, — ответила Вера.

Такси свернуло на узкую улочку, и архитектура изменилась — стала камерной, уютной. Дома жались друг к другу, окна были распахнуты весне.

— Как в раю, — сказал Прохор, когда они вышли из такси у отеля. — Ты только посмотри на это небо.

Небо и правда было особенным — не ярко-синим, а бледно-голубым, с лёгкой дымкой, которая делала его бесконечным, почти невесомым.

Отель они выбрали в Латинском квартале — на узкой улочке, где мостовая была выложена булыжником, а дома стояли так близко друг к другу, что солнечный луч едва пробивался вниз. Но это было красиво по-своему — таинственно, по-староевропейски.

Из открытого окна соседнего дома доносилась музыка — кто-то играл на пианино старую мелодию. Негромко, неумело, но очень душевно.

Вера остановилась посреди улицы, закрыла глаза.

— Ты слышишь? — спросила она.

— Слышу. Кто-то учится играть. Пятый раз повторяет одно и то же место.

— Неважно. Главное — это Париж.

— С голубями, — добавил Прохор, кивая на стаю птиц, рассевшихся на карнизе напротив.

— И как же без голубей, — согласилась Вера, засмеявшись.

Они закинули вещи в номер — маленький, но уютный, с высоким потолком и огромным окном, выходящим во внутренний двор, где цвели магнолия и куст сирени. Вера вышла на балкон. Ей вдруг подумалось: дома она всегда смотрела в окно и видела двор с берёзами, вереницы машин на тротуаре, детский сад и серое небо. А здесь — яркое небо, цветущий сад, розовые лепестки на булыжной мостовой и тишина, которая не давит, а обнимает.

Она провела ладонью по подоконнику и улыбнулась.

— Идём гулять, Проша. Я хочу увидеть Париж.

— Весь за один день? — усмехнулся он.

— Хотя бы его душу, — ответила Вера.

Они поехали на метро. Вера не говорила ни слова — рассматривала пассажиров, читала названия станций, ловила себя на мысли, что она — героиня старого фильма. Может быть, «Амели»? Или «Полуночного Парижа»?

— Выходим, — сказал Прохор, и они поднялись наверх.

И там они увидели её.

Эйфелева башня стояла напротив — ажурная, невесомая, невероятная. Она не казалась железной — она казалась кружевной, сотканной из солнечных лучей и утренней дымки. Вера замерла. Прохор остановился рядом, тоже глядя вверх.

— Ну что? — спросил он. — Оправдала ожидания?

— Она больше, чем я думала, — произнесла Вера. — И одновременно — легче. Как будто её вот-вот унесёт ветром.

— Не унесёт, — усмехнулся Прохор. — Она тут больше ста лет стоит.

— Просто я чувствую себя здесь маленькой девочкой.

Они подошли ближе, прошли под аркой, посмотрели вверх. Вера смотрела и думала о том, сколько глаз видели эту башню. Влюблённые, солдаты, поэты, туристы, парижане, которые каждый день проходят мимо и иногда даже не поднимают головы.

— А знаешь, — сказал Прохор, — я думал, она будет другой. Более грандиозной.

— Эйфелева башня не может быть другой, — ответила Вера. — Она такой и должна быть. Элегантной. Как сам Париж.

Они не стали подниматься наверх — очередь была слишком длинной, да и Вера сказала, что хочет увидеть город не сверху, а изнутри. Пройти по его улицам, почувствовать его дыхание.

И они пошли.

Прогулка по Сене

От Эйфелевой башни они спустились к реке. Сена текла неторопливо, с маленькими волнами, переливавшимися на солнце. По набережной гуляли и сидели люди — кто-то с книгами, кто-то с детьми, кто-то с собаками на поводках.

— Здесь как будто время остановилось, — сказала Вера, опираясь на каменный парапет. — Смотри, дома старые — по двести, а то и по триста лет. А вода такая же, как и столетия назад. И мосты те же.

— Мосты те, да не те, — возразил Прохор. — Войны были, реставрации

— Не важно, — Вера покачала головой. — Ведь когда смотришь на Сену, думаешь о тех, кто тоже смотрел на неё — вот так же, как мы.

Прохор промолчал. Он стоял рядом, засунув руки в карманы, и тоже смотрел на воду.

— Знаешь, — сказал он спустя минуту, — я тебя ревновал в Крыму. К этому твоему Марко Поло. К тому, что ты помнила его, хоть и прошлое. А здесь я чувствую себя спокойно. Потому что здесь мы не ищем. Мы просто есть.

Вера повернулась к нему, прижалась к плечу.

— Просто быть — тоже важно, Проша.

Они постояли ещё немного, а потом заметили причал, где продавали билеты на теплоход.

— Давай? — предложил Прохор. — Поплывём, как туристы?

Вера засмеялась.

— Кто мы?

— Мы — двое счастливых людей, которые оказались в Париже.

Теплоход был белым, с открытой палубой наверху и уютным салоном внизу. Они поднялись наверх — чтобы видеть всё. Ветер трепал волосы Веры, и она улыбалась — широко, по-детски радостно, как не улыбалась уже давно.

С воды тянуло чем-то непривычным, чуть солоноватым — водорослями, мокрым камнем, речным илом. Но этот запах не был неприятным. Он напоминал о том, что Сена — живая, что у неё есть свой голос и своё тело.

Они проплыли под мостами — их было много, каждый со своей историей, каждый со своим характером. Мост Искусств, где когда-то вешали замки влюблённые. Мост Менял, где в Средневековье стояли лавки менял. Новый мост, который на самом деле старейший — ему больше четырёхсот лет.

— Смотри, — сказал Прохор, показывая на здание с башнями. — Это что?

— Консьержери, — ответила Вера, вспоминая путеводитель. — Замок-тюрьма. Там держали Марию-Антуанетту перед казнью. И героя книги Анри Шарьера «Мотылёк».

— Я тоже читал. Мрачновато, — заметил Прохор.

Они проплыли мимо Лувра — огромного, величественного, растянувшегося вдоль берега. Вера смотрела на стеклянные пирамиды, поблёскивавшие на солнце.

— Ты знаешь, — сказала она, — парижанам сначала не понравились эти пирамиды. Говорили, что портят исторический облик. А теперь привыкли.

— И про Эйфелеву башню так говорили. Со временем привыкают ко всему, — заметил Прохор. — Даже к тому, что казалось непонятным.

Вера посмотрела на него.

— Это ты о чём?

— О нас, — ответил он просто. — Я привык. К тому, что ты иногда уходишь в свои загадки. Что тебе нужно разгадывать тайны. Что без этого ты не ты.

Вера не ответила. Только прижалась к нему крепче.

А теплоход всё плыл.

Разговор о «Шербурских зонтиках»

Они сошли с теплохода на остров Сите и решили выпить кофе в маленьком кафе. Пока они шли по набережной, Вера молчала. Но внутри неё всё говорило. Она думала о том, как странно устроена память: несколько лет назад она представляла Париж иначе — ярче, громче, праздничнее. А он оказался тихим. Спокойным. Почти домашним.

Столики в кафе стояли прямо у воды, вместо навеса над головой — несколько разноцветных зонтиков. Они сели у самого парапета.

Официант подошёл принять заказ. Вера попросила *un café noisette*, Прохор — *un café*.

Через минуту перед ними уже стояли две маленькие чашки на блюдцах. Вера поднесла свою к губам — ореховый аромат ударил в нос, мягкий и уютный. Глоток: эспрессо с каплей молока оказался нежным, почти бархатистым, с долгим тёплым послевкусием, которое оставалось на языке, как обещание.

Прохор взял свою чёрную чашку, отхлебнул — и скривился. Резкая, горькая волна прокатилась по нёбу, обжигая и заставляя глаза прищуриться. Но следом, когда горечь отступила, пришло второе дыхание: древесные ноты, лёгкая кислинка, терпкость, которая не отпускала. «Честный кофе», — подумал он и сделал глоток, уже привыкнув к этой суровой чистоте.

И следом официант принёс тарелки с круассанами — по два на каждого.

У Веры на тарелке лежали два разных: один — с миндальной пастой, присыпанный сахарной пудрой и лепестками миндаля; другой — прямоугольный *pain au chocolat* с тёмной шоколадной начинкой внутри. Прохор выбрал классику: настоящие *croissants* в форме полумесяца, слоёные, с хрустящей золотистой корочкой и пустым маслянистым нутром, которое таяло, стоило откусить кусочек.

Вера отломил миндальный круассан — он рассыпался под пальцами, сахарная пудра облаком осела на блюде. Вкус оказался плотным, ореховым, чуть влажным от пасты, и каждый глоток *noisette* будто подхватывал эту сладость и делал её глубже.

Прохор откусил от своего классического круассана — и по столу разлетелись крошки. Слоёные коржи хрустнули, обнажив лёгкую, воздушную мягкость, пропитанную маслом. Он макнул кусочек в остывающий *café*, и тот мгновенно впитал горечь, став чем-то средним между выпечкой и десертом. Прохор одобрительно хмыкнул и отправил его в рот целиком.

— А я раньше не любила круассаны, — сказала Вера, облизывая пальцы. — Думала, это просто сдобные булки.

— А теперь?

— Теперь понимаю, что просто не в Париже их ела, — улыбнулась она, откусывая *pain au chocolat*. — Круассан — это ведь почти символ Парижа. В нём — вся Франция: простота, которая оказывается совершенством.

Прохор откусил, помолчал, жуя, и покачал головой.

— Символ Парижа — не круассан, — сказал он наконец. — Символ Парижа — багет. Круассан ты съел и забыл. А багет — это про каждый день. Про утро, когда идёшь в пекарню, пока он ещё тёплый. Про корку, которая хрустит так, что слышат соседи. Про то, что через два часа он уже жёсткий, как дубина, и им можно защищаться от чаек на набережной. Вот это Париж. Не прилизанный, не из кино.

Он отпил кофе и добавил:

— И вино красное, конечно. Без него эти разговоры про символы ничего не стоят.

Прохор посмотрел на Веру, она согласно кивнула. Он подозвал официанта и заказал два бокала красного — *côtes-du-rhône*, обычного, рабочего, без выпендрёжа. Вино принесли тёмное, густое, пахнущее вишней и землёй. Они чокнулись — негромко, так, чтобы никто, кроме них, не услышал.

Прохор сделал глоток, крикнул одобрительно.

— Вот это три символа Парижа: кофе, багет и красное вино. Всё остальное — для открыток.

Вера отпила из своего бокала, помолчала, глядя на Сену.

— А круассан?

— А круассан — это для туристов, — Прохор доел свой первый полумесяц в два укуса. — И для тебя. Потому что ты у меня красивая, и тебе идёт сахарная пудра на носу.

Вера невольно провела ладонью по носу, смахнула пудру на палец и мазнула им Прохора по переносице. Он не ожидал, моргнул, а потом засмеялся — громко, по-настоящему, так, что пара туристов за соседним столиком обернулась.

— Ну всё, — сказал он. — Война объявлена.

— Ешь давай. Дождь начинается, — улыбнулась Вера.

Сверху по зонтикам забарабанил мелкий тёплый дождь. Где-то внутри кафе заиграла знакомая мелодия. Вера прислушалась и вдруг почувствовала себя так, будто попала внутрь кадра.

— Слышишь, — сказала она, глядя на серое небо и мокрую мостовую. — Как в «Шербурских зонтиках».

Прохор поднял бровь.

— Ты про фильм, где всё время поют?

— Ты его смотрел?

— Мельком. Ты включала как-то, но я заснул.

Вера вздохнула с притворной обидой.

— Это же классика, Проша. Катрин Денёв. Музыка Мишеля Леграна. Гениальный фильм.

— И конечно, про любовь, — иронично протянул Прохор.

— Про любовь, которая не сбылась. Девушка Женевьева, парень Ги. Он уходит на войну в Алжир, она обещает ждать. Но время идёт, письма приходят всё реже, а потом она узнаёт, что беременна. Она выходит замуж. Когда Ги возвращается — уже ничего не вернуть.

— Грустно, — коротко сказал Прохор.

— Там весь фильм как музыкальная фреска. Каждая фраза пропета. Каждый цвет — специально выбранный. Розовый, голубой, жёлтый — как мозаика. Знаешь, это как раз про Париж. Не тот Париж, который с открытки, а тот, который настоящий. С дождём, с разлукой, с памятью.

Она отпила кофе и продолжила:

— Там есть одна сцена — в конце. Ги стоит у своей заправки, идёт снег. И вдруг подъезжает машина, из которой выходит Женевьева с дочкой. Она не звонила, не предупреждала. Просто приехала. Они стоят на снегу, смотрят друг на друга. Он говорит: «Я не узнал тебя». Она: «Я постарела?» Он: «Нет, просто я тебя забыл».

Вера замолчала.

— Ты плачешь? — спросил Прохор.

— Нет, — сказала Вера, но глаза её блестели. — Просто этот фильм — о том, что время не лечит. Оно просто заставляет забывать. И когда встречаешь того, кого когда-то любила, понимаешь: вы уже другие.

— А ты бы хотела встретить кого-то из прошлого? — спросил Прохор.

Вера покачала головой.

— Нет. Потому что я уже встретила тебя.

Прохор хотел что-то сказать, но официант принёс счёт, и волшебство момента рассеялось. Однако разговор остался с ними, как и дождь, и Сена, и чувство, что они находятся внутри чего-то очень важного.

— Ты так говоришь о фильме как о чём-то, что тебя изменило.

— Изменило, — кивнула Вера. — Я смотрела его в семнадцать лет. Думала: «Как можно так любить, чтобы потом не узнать?» А теперь понимаю: можно. Потому что любовь — это не про то, чтобы помнить лицо. Это про то, чтобы помнить чувство.

Она вдруг остановилась и посмотрела на зонтики над головой — красные, жёлтые, синие — они свисали, как гирлянды.

— А знаешь, магазин зонтиков, где работала Женевьева, не сохранили.

— Жаль. Представляешь, как туристы бы ломились? — усмехнулся Прохор.

— Ты циник, — покачала головой Вера.

— Реалист, — поправил он.

Они вышли из кафе. Дождь ещё моросил. Вера раскрыла свой походный зонтик в клеточку, сделала несколько шагов — и дождь прекратился совсем. Она сложила его, встряхнула, и капли разлетелись в воздухе, как маленькие слёзы.

— Как в кино, — сказал Прохор.

— Как в кино, — повторила Вера.

Нотр-Дам

Вера шла медленно, ступая по булыжной мостовой. Ей казалось, что под ногами — слои веков, и каждый помнит что-то своё. Остров Сите был сердцем города, его самой древней частью. Здесь когда-то была столица галлов, здесь стоял дворец римских наместников, здесь короновали королей. Камень помнил шаги легионеров и шёпот монахов, звон мечей и звуки органа из только что отстроенного собора.

Нотр-Дам предстал перед ними неожиданно. Но он был не таким, как на картинках. Не было шпиля — он рухнул во время пожара пять лет назад. Стены почернели от копоти, строительные леса облепили фасад, и только розы — те самые, знаменитые окна — всё ещё сияли на солнце.

— Он восстанавливается, — сказал Прохор. — Как живой. Его лечат.

— Как человека, — добавила Вера. — Ты знаешь, я думала, что расстроюсь. Что будет жалко. А жалко — но не до слёз. Потому что он всё равно стоит.

— И ждёт, когда его снова сделают красивым.

— Да. А знаешь, о чём я думаю? — спросила Вера.

— О чём?

— О том, что этот собор строили двести лет. Ты представляешь? Несколько поколений клали камни, зная, что сами не увидят результат. Но они продолжали. Сейчас новое поколение оставит в его истории свой след.

— Есть вера и надежда, — задумчиво сказал Прохор.

— Во что?

— В то, что они вкладывали в камни. Вера в то, что дело закончат. И надежда, что это будет прекрасно. — Он помолчал, усмехнулся краешком губ. — Как в «Шербурских зонтиках». Была надежда, что она вернётся. И вера, что он дожждётся. Не дождался, но вера-то была.

Вера посмотрела на него удивлённо.

— Ты помнишь фильм? Ты же сказал, что заснул.

— Так соврал же, — ответил Прохор без тени смущения. — Досмотрел до конца. И даже не заплакал. Почти.

— Прохор!

— Что? Правда. Просто в конце там снег пошёл, а у него дочка — Он потёр переносицу и отвернулся, пряча глаза.

Вера смотрела на него и не верила своим ушам. Этот вечно насмешливый, скептический Прохор, который ворчал на её «женские фильмы», — досмотрел «Шербурские зонтики» до конца. И запомнил. И почти заплакал.

Она молча взяла его за руку. Он сжал её пальцы в ответ.

«Вот оно, — подумала Вера. — Настоящее. Не придуманное».

За нас

К вечеру ноги гудели, а Париж всё не кончался. Они зашли в кафе с красными абажурами, плетёными стульями и музыкой, доносившейся из открытой двери. Внутри было уютно. За столиками сидели парижане — с газетами, чашками кофе, неторопливыми разговорами. Никто не спешил. Никто не смотрел на часы. Время здесь текло иначе — медленнее, будто его было больше, чем где-либо ещё.

Они сели за столик у окна. В ожидании заказа Вера заказала Kir — коктейль из белого вина и черносмородинового ликера. Прохор последовал её примеру, решив, что в Париже стоит довериться местному ритуалу.

— За Париж, — сказал он, поднимая бокал.

— И за то, чтобы ноги нас ещё носили, — усмехнулась Вера, чокаясь.

Кир оказался лёгким, чуть терпким, с ягодной сладостью, которая оставалась на языке, как приветствие лета. Вера сделала глоток и почувствовала, как прохладный напиток разливается по телу, снимая усталость долгого дня. Прохор тоже одобрительно кивнул — черносмородиновый ликёр придавал белому вину неожиданную глубину, делая его не просто напитком, а маленьким открытием.

Через несколько минут официант вернулся с едой: две глубокие тарелки с артишоками, политыми растопленным маслом с зеленью, и глиняный горшочек с тушёным кроликом — пар поднимался к потолку вместе с ароматом розмарина и тимьяна. Гарнир из молодой моркови лежал рядом оранжевыми ломтиками.

Вера отломилла лист артишока, обмакнула в масло и провела зубами, соскабливая нежную мякоть. Глоток коктейля, снова лист артишока — масло, ягодная кислинка, мягкая горечь — они сплетались в такой гармонии, что Вера на мгновение закрыла глаза.

Прохор, напротив, напал на кролика. Мясо оказалось настолько мягким, что вилка входила без усилий — оно таяло на языке, распадаясь на волокна, пропитанные соусом с красным вином и травами. Он отправил в рот кусок, прожевал и вдруг потянулся к бокалу с Kir. Сделал глоток поверх кролика — и замер. Смородиновая свежесть коктейля не заглушила мясо, а наоборот — оттенила его, срезала жирность, добавила вкусу кролика лёгкую фруктовую ноту. Он попробовал морковь — сладкую, с карамельной корочкой, — и снова Kir. Контраст был невероятным: сладкое и терпкое, мягкое и ягодное, земляное и освежающее. Прохор усмехнулся своим мыслям.

— Я думал, кролик с морковкой — это буднично.

Вера улыбнулась в ответ, не открывая глаз.

— Это просто праздник вкуса. И Kir этому не помешал.

Она сделала глоток и посмотрела на Прохора. Тот задумчиво крутил свой бокал, глядя в окно. За стёклами зажигались фонари, и тени прохожих становились длиннее и мягче.

— А это напоминает мне Вену, — сказал он, оглядываясь по сторонам.

— Вену? — Вера подняла бровь.

— Ну да. То кафе, где мы — он запнулся, подбирая слово, — столкнулись.

— Кафе «Захер», — улыбнулась Вера. — Ты тогда сидел за соседним столиком и смотрел на меня, как сытый кот.

— Я не смотрел. Я наблюдал. С профессиональным интересом.

— Профессиональным? Ты что, сыщик?

— Что-то вроде того, — засмеялся Прохор. — Но и просто мужчина, который увидел красивую женщину, с таким удовольствием поедающую торт и запивающую двойным эспрессо. Я тогда подумал: «Сладкоежка, но характер — огонь».

— А я подумала, — ответила Вера, — что этот тип с бородой явно не местный. Потому что местные мужчины не смотрят так откровенно.

— А как они смотрят?

— Сдержанно. Вежливо. Делая вид, что тебя не замечают.

— Скучно, — заключил Прохор. — А я тебя сразу заметил. Ты сидела босиком и выглядела так, будто тебе всё равно на весь мир. А твои лакированные туфельки стояли рядышком, как две маленькие жертвы моды.

— Они были новые, — вздохнула Вера. — Я не рассчитала, что в них долго не проходишь.

— Зато ты запомнила этот день. Туфельки, торт, штрудель, а потом Венская опера.

— И «Турандот», — добавила Вера. — Ты тогда сказал, что билет найдётся. А билета ведь не было?

Прохор сделал большой глоток Kir, поперхнулся и закашлялся.

— Не было, — признался он. — Но подумал, что такая женщина не должна приходить в оперу одна.

— А если бы я не пришла?

— Тогда бы я грустил на опере в одиночестве.

Вера засмеялась.

— Ты не умеешь грустить.

— С тобой — нет, — согласился он и взял её за руку.

Она посмотрела на их переплетённые пальцы, потом на зал с красными абажурами, с официантом, неторопливо разносившим заказы. Вера перевела взгляд на пианино, стоявшее в углу. На крышке сидела кукла в красивом платье — видимо, часть декора. Вера улыбнулась и задержала на ней взгляд.

— Когда я была маленькой, — сказала она негромко, — у нас дома на пианино стоял целый ряд кукол. В нарядных платьях, с разными причёсками — все такие разные. Родители часто покупали нам с сестрой кукол, непохожих друг на друга. Мы могли часами играть с ними, придумывать имена и целые жизни.

Проход проследил за её взглядом.

— А что с ними стало?

— Не знаю, — ответила Вера. — Они исчезли. Я даже не помню, когда это случилось. Просто однажды их не стало. И ни одной не осталось. Я не спрашиваю об этом маму.

Она помолчала, глядя на куклу, и в голосе её послышалась грусть:

— Осталась только память. Как они стояли на пианино, словно на маленьком параде.

Она ещё мгновение смотрела на куклу, потом перевела взгляд на Прохода. Его глаза были тёплыми, спокойными — он не торопил её, не пытался утешить. Просто ждал. И это молчание было лучше любых слов.

Вера улыбнулась, сжала его пальцы и перевела разговор в другое русло.

— Тогда, в Вене, — сказала она, отводя взгляд, — я думала, что наше знакомство — это просто случайность. Приятная, но случайность. Что я вернусь в Минск, и всё забудется.

— А я знал, что нет, — ответил Проход. — Потому что таких вещей не забывают. Жалею только, что не поцеловал тебя в Вене.

— Зато восполнил позже, — Вера улыбнулась и покраснела.

Он помолчал, потом добавил с лёгкой иронией:

— Кстати, та салфетка с телефоном, которую я вложил в твою туфельку Ты её заметила сразу?

— Сразу, — призналась Вера. — И подумала: «Какой наглый».

— Такое не прощают? — спросил Проход.

— Прощают, — улыбнулась Вера. — Помнят. И благодарят.

Они помолчали. Вера сделала глоток коктейля и откинулась на спинку стула. В окно вливался тёплый вечер, смешивая запахи цветущих каштанов, вина и свободы.

— Я рада, — сказала она тихо, — что мы тогда встретились. И что ты был таким наглым.

— Тогда за нас, — Проход поднял бокал с остатками Kir.

— За нас, — ответила Вера, поднимая свой.

Они чокнулись. Напиток давно согрелся, но это было неважно.

— А завтра поедем на Монмартр? — спросила она, переводя тему.

— Конечно.

— А что сегодня?

— Пойдём гулять по ночному городу.

Они расплатились и вышли. Переулок оказался узким — фонари рисовали на мокрой брусчатке золотые круги, и Вера вдруг почувствовала, как легко дышится в этом городе — словно каждый вдох здесь был написан заранее, и оставалось только вовремя его сделать. Про-

хор молчал, но его ладонь согревала её руку, и этого было достаточно, чтобы не спрашивать ни о чём.

А над ними, за кружевными крышами, медленно плыла полная луна. Она висела в небе, как старая серебряная монета, которую кто-то забыл на бархатной скатерти неба.

Право на сладкое

Они бродили по набережным — без карты, без цели. Вера всё ещё носила с собой клетчатый зонтик — на всякий случай, но сегодня он почти не пригодился. К вечеру Париж становился другим — не громче, не тише, а глубже. Голоса прохожих смешивались с плеском воды, отблески фонарей делали камни тёплыми, и казалось, что город дышит неспешно, как старый друг, который рад тебя видеть, но не станет этого показывать.

Они задержались на мосту Искусств. Внизу мягко плескалась вода, на том берегу горели окна Лувра, а над ними, совсем высоко, в тёмном небе мерцали первые звёзды — редкие, робкие, ещё не победившие городское зарево.

Проход облокотился на перила, Вера — рядом, касаясь его плеча. Ветер, пахнувший рекой и цветами, шевелил её волосы.

— Смотри, — сказала Вера, показывая куда-то вдаль. — Нотр-Дам. Его видно даже отсюда, даже ночью.

Собор стоял тёмным силуэтом на фоне неба, без шпиля, без крыши, но всё равно узнаваемый, всё равно величественный. Строительные леса не портили его — наоборот, делали живым, раненым, но не сломленным.

Где-то сбоку, из маленького бара, доносилась музыка. Вера напрягла слух, и Проход, заметив это, тоже прислушался.

— Это вроде — сказал он.

— Шарль Азнавур, — продолжила Вера, и улыбка её стала мягче, почти мечтательной. — «*Une vie d'amour*». Он знал, о чём пел.

— Это тот самый шансонье, который пел про вечную любовь?

— Он самый, — кивнула Вера, закрывая глаза. — И есть у него ещё одна песня, «Богема». Про Монмартр, про художников, про то, как они были молоды и бедны и как потом разъехались по всему миру.

— Как твоя Надя Леже, — усмехнулся Проход.

— Да, как Надя, — кивнула Вера. — И как Шагал. И как Сутин.

— И Модильяни, кстати, там же начинал. Пил в кабаках, рисовал, нищенствовал.

— Азнавур был сам из этих — приехавших. Кто приехал в Париж без ничего. И остался. И стал голосом эпохи.

— А ты бы осталась? — спросил Проход. Вопрос прозвучал неожиданно, без подготовки.

— Не знаю, — ответила она честно. — Наверное, нет. Слишком я люблю свой дом. Свои поля, свои леса, свою тишину. Париж — это очень красиво, но к этому надо привыкнуть. Это как альбом с фотографиями, в который можно заглянуть и подивиться.

— А я бы остался, — вдруг сказал Проход. — Если бы ты была со мной. Мне бы хотелось начать жизнь заново, но с тобой. И я бы прожил её по-другому.

Вера повернулась к нему, посмотрела в глаза.

— Я и так с тобой, где бы мы ни были, — сказала она. — А почему бы ты прожил жизнь по-другому?

Он помолчал, глядя на воду. Сена переливалась серебром, дробя блики набережных.

— Потому что я жил так, как от меня ждали, — сказал он наконец. — Всё правильно. Всё вовремя. Я стал человеком, который умеет отвечать за других, но забыл спросить у себя: а

что я сам хочу? Я привык быть опорой. А оказалось, что опора — это клетка, только с удобной мебелью.

Она молчала, слушая. Его голос звучал глухо, но не горько — скорее удивлённо, словно он сам только что додумал эту мысль.

— В Париже, — продолжал он, — никто не знает, кем я был. Здесь я могу быть тем, кем захочу: не командир Прохор Прозоров, не муж, которого не любила жена, не отец, чьи дети выросли. Просто Проша. Чтобы не знать, что будет завтра. И не бояться этого.

— Это страшно?

— Это живое, — ответил он. — А я привык к мёртвому.

Вера коснулась его руки — кончиками пальцев, едва заметно.

— А если бы ты остался, — спросила она осторожно, — ты бы не скучал по дому?

— Скучал, — выдохнул он. — По снегу. По бане. По озеру. По запаху скошенной травы. Но когда я думаю о доме, я думаю о нём без себя. Там я уже отжил. А здесь... здесь я могу начать с тобой писать новую главу. И в этой главе я хочу быть не тем, кто должен, а тем, кто хочет.

Она улыбнулась, но в глазах блеснула влага.

— А что бы ты хотел? — спросила она. — Ну, если по-настоящему.

Он повернулся к ней, взял её ладонь в свои.

— Я хотел бы просыпаться рядом с тобой в маленькой квартирке с выходом во внутренний дворик. Чтобы утром пахло багетами из пекарни на углу. Чтобы мы ходили на рынок за сыром и фруктами, и ты выбирала бы для меня самые сладкие персики — потому что ты знаешь, как я их люблю, а я нёс бы сумку и ворчал, что мы слишком много взяли. Чтобы мы сидели в кафе, где никто не знает нашего языка, и говорили о глупостях.

— А ты не боишься, — спросила она шёпотом, — что мы проживём эту новую жизнь и поймём, что она такая же, как и старая? Что мы привезли себя с собой?

Он задумался. Где-то на другом берегу проплывал речной трамвайчик, слышалась музыка, смех, звон бокалов.

— Боюсь, — признался он. — Но я больше боюсь не попробовать. И даже если мы ошибёмся, мы ошибёмся вместе. А это уже совсем другая ошибка.

Она подняла голову и посмотрела ему в глаза.

— Знаешь, — сказала она, — когда я говорила, что не осталась бы, я лукавила. Немного. Наверное, я осталась бы. Но только если бы знала, что ты будешь держать меня за руку и не отпустишь. Потому что одной — страшно. А с тобой — даже чужая земля становится домом, если ты рядом.

Он поцеловал её в висок — долго, бережно, словно ставил печать на этих словах.

— Тогда решено, — сказал он. — Мы ещё вернёмся.

Они шли молча, но это молчание было тёплым — как одеяло, в которое можно завернуться вдвоём.

— Знаешь, — сказал он, — иногда мне кажется, что я прожил уже две жизни. Одну — до. И одну — после. А сейчас — третья. Но в ней до сих пор побаливают шрамы от первых двух.

Она молчала. Не подбадривала. Просто шла рядом, чуть прижимаясь плечом к его руке, и слушала.

— Есть вещи, — продолжил он, и голос его стал почти сухим, — которые нельзя исправить. Которые нельзя даже рассказать. Потому что, если рассказать, они станут реальнее, чем были.

Тишина стала её ответом.

Он хотел что-то еще сказать, но лишь кивнул — и на его лице мелькнула та улыбка, которую она любила больше всего: не уверенная, не бодрая, а настоящая, с морщинками у глаз и лёгкой грустью, которая всегда пряталась в уголках губ.

Париж ночью

А потом они двинулись дальше — мимо книжных лавок на набережных, которые уже закрылись; мимо маленьких скверов, где на скамейках сидели влюблённые; мимо домов с распахнутыми окнами, из которых доносился чей-то смех, чья-то жизнь.

Проход зашёл в маленькую продуктовую лавку и вышел оттуда с бутылкой красного вина, гроздью винограда и тёплым багетом, который хрустел в бумажном кульке. А ещё — сыр. Он вытащил из пакета небольшой треугольник, завернутый в вощёную бумагу.

— Это что? — спросила Вера.

— Камамбер, — ответил он. — Продавщица сказала, самый лучший. С плесенью.

— С плесенью? — Вера скептически поджала губы.

Проход засмеялся, отломил кусочек багета, положил сверху сыр и протянул ей.

— Попробуй так. Вместе.

Она попробовала. Камамбер растаял на языке, соединился с хрустящей корочкой багета. Вкус оказался сложным — маслянистым, с грибными нотками и долгим послевкусием.

— Боже, — сказала Вера. — Это же целая симфония.

— Видишь, — усмехнулся Проход. — А ты испугалась плесени.

— Знаешь, — сказала Вера, жуя, — я вспомнила себя в детстве. В детском саду на завтрак я не любила сыр. Вообще не любила. Это самое яркое впечатление оттуда — и ещё музыкальные утренники. Всё, что сохранила моя память о детском садике.

Проход усмехнулся, отломил ещё кусочек багета и протянул ей.

— А теперь ты любишь сыр. И классическую музыку. Значит, в детстве ты просто не доросла до них.

Они шли, откусывая по кусочку сыра и багета, передавая бутылку вина друг другу.

— Пьём по-парижски, — сказал Проход, делая глоток прямо из горлышка. — Без церемоний.

Вино было терпким, чуть горьковатым — как все французские красные, к которым Вера никогда не могла привыкнуть, но сейчас оно казалось ей самым вкусным в мире. Может быть, потому что Париж. Может быть, потому что май. А может быть, потому что Проход рядом.

Проход оторвал виноградину, поднёс к её губам. Вера взяла губами, не касаясь пальцев, и он посмотрел на неё так, что она смутилась.

— Что? — спросила она с набитым ртом.

— Ничего, — ответил он. — Просто у тебя сейчас на губах и вино, и сыр, и виноград.

— И что?

— А то, что вкуснее женщины я в жизни не встречал.

Вера фыркнула, рассмеялась и ударила его в плечо.

— Ты невозможен.

— Я знаю, — согласился Проход. — Поэтому ты меня и любишь.

Она засмеялась и откусила багет прямо из его рук, слегка коснувшись зубами его пальцев — случайно или нарочно, Проход не понял. Но руку не убрал. Только замер на секунду, глядя на неё с той смесью удивления и нежности, которая появлялась всякий раз, когда Вера делала что-то неожиданное.

— Осторожнее, — сказал он с усмешкой. — А то я подумаю, что ты меня соблазняешь.

— А ты против? — спросила она, не отводя взгляда.

Вместо ответа он обнял её свободной рукой, притянул ближе — так, что бутылка вина оказалась зажатой между ними, а багет хрустнул в кульке, будто протестуя против тесноты. И поцеловал её — прямо с виноградом во рту и вкусом красного вина на губах.

Вера не помнила, сколько они так стояли. Секунду? Минуту? Вечность?

— Ты вкусно пахнешь виноградом
— А ты — Парижем, — ответила она.

Они пошли дальше, держась за руки. Багет уже остыл, сыр был съеден, вино в бутылке почти закончилось, а виноградные косточки оставались на мостовой маленькими тёмными точками.

Ночной город оказался совсем другим, чем дневной. Не суетливым, не парадным, а таинственным, приглушённым, будто город устал от солнца и теперь отдыхал, потягиваясь в тёплом вечернем воздухе. Фонари отражались в тёмной воде Сены, и казалось, что внизу течёт не река, а расплавленное золото. Мосты горели цепочками огней — каждый фонарь, каждая арка, каждая кованая решётка подсвечивались мягким золотом.

Вера замедлила шаг, вглядываясь в отражения. Ей вдруг показалось, что она идёт не по Парижу, а по самому краю сна — когда ещё не спишь, но реальность уже слегка расплывается, становясь невесомой, как лепестки каштанов, которые всё ещё падали с деревьев, кружась в тёплом воздухе.

Эйфелева башня в темноте выглядела иначе — не кружевной, а сияющей, живой. Каждый час она начинала мерцать: тысячи маленьких огней загорались и гасли, как будто башня дышала. Вера смотрела на это мерцание и думала о том, сколько влюблённых пар стояло здесь, под этой башней, глядя на это сияние, загадывая желания. И сколько из них сбылось?

— Красиво, — сказал Прохор. — Даже я, циник, говорю: красиво.
— Ты не циник. Ты самый романтичный человек, которого я знаю.

Прохор притянул её к себе и обнял так, будто хотел защитить от всего мира — от времени, от расстояний, от всех тех загадок, которые она так любила разгадывать.

— Что ты делаешь? — прошептала Вера, уткнувшись носом ему в плечо.
— Ничего, — ответил он. — Просто обнимаю.

Она почувствовала, как бьётся его сердце — ровно, спокойно, надёжно. И её — постепенно успокаивалось, забывая обо всём, кроме этого мгновения. Она подняла голову, посмотрела на него — и он поцеловал её. Нежно, почти несмело, как в первый раз. А потом — второй, уже увереннее. А потом третий — долгий, медленный, как течение Сены под мостами.

— Мне нравится этот город, — прошептала Вера, когда они отстранились.
— Мне тоже, — ответил Прохор. — Особенно сейчас.

Они двинулись дальше — в ногу, под мерцающие фонари. А на мосту, откуда открывался вид на подсвеченный Лувр, Вера вдруг замерла и посмотрела на Прохора долгим, внимательным взглядом.

— Я даже не мечтала, что буду целоваться в Париже. Хотя я верила, что такие города и такие поцелуи существуют.

Прохор улыбнулся и сжал её руку.
— Мечты должны сбываться. Особенно такие.

Он взял её за руку, и они пошли — в ночной Париж, который, казалось, не кончался никогда. И каждый раз, когда Прохор останавливался, чтобы поцеловать её, Вера думала: а ведь она и правда счастлива. Тем тихим, спокойным счастьем, которое не нуждается в приключениях. Потому что само приключение — это быть здесь, сейчас, с ним, в этом городе, который когда-то казался недостижимым, а теперь стоял перед ней весь, свой.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Зонтик из мозаики

На следующий день они проснулись поздно. Солнце уже стояло высоко, и в комнату заглядывал утренний луч — лёгкий, золотистый.

— Ну что, — сказал Прохор, потягиваясь. — Едем на Монмартр?

— Едем, — ответила Вера, и в её голосе уже звучало то особенное ожидание, которое Прохор научился узнавать.

Они поехали на метро — линия 2, станция Anvers, — а потом поднялись на холм по узкой улочке, где стены домов были разрисованы граффити, а под ногами хрустел мелкий гравий. Вера остановилась у старого здания с коваными воротами.

— Смотри, — сказала она, показывая на табличку. — Здесь была мастерская, где в 1920-е собирались художники. Парижская школа.

— Парижская школа? — переспросил Прохор.

— Пикассо, Модильяни и наши — Шагал, Сутин, Надя Леже. — Она говорила быстро, перечисляя, а Прохор уже не слушал.

Они пошли вперед — мимо сувенирных лавок, уличных художников, кафе с плетёными стульями. Вера то и дело останавливалась, вглядываясь в вывески.

— А ты знаешь, что известный белорусский художник и композитор Наполеон Орда тоже жил здесь? — спросила она. — Работал директором Итальянской оперы, дружил с Шопеном и Мицкевичем.

— А потом вернулся домой?

— Да. И зарисовал почти всю Беларусь. Замки, церкви, усадьбы. Многие уже не существуют — только на его рисунках остались.

— Он хранитель, — сказал Прохор. — Как те, в Крыму.

Вера посмотрела на него. Он помнил. Это было неожиданно.

— Иногда ты меня удивляешь.

— Чем?

— Тем, как точно можешь сказать.

Прохор пожал плечами, но в глазах его мелькнуло что-то тёплое.

— Набираюсь ума, пока с тобой путешествую.

Они свернули на площадь Тертр — ту самую, где всегда многолюдно, где художники пишут портреты туристов, а воздух пахнет жареными каштанами и свежей краской. Вера замерла у одного из мольбертов.

— Смотри, — сказала она. — Мозаика.

На маленьком стенде, прислонённом к стене кафе, действительно было панно из цветных кусочков: парижская улица, дождь, женщина с зонтом.

«Это же она, — промелькнула мысль. — Надя из Зембина».

И память незаметно подхватила ту сцену, которая хранилась у неё где-то глубоко, годами не напоминая о себе.

Их привели в сельский музей, который ютился в нескольких залах Дома культуры. Экскурсоводом была местная учительница. Она рассказывала о войне, о колхозе, о знаменитых земляках-партизанах. А потом завела в небольшую комнату — подвального типа, без окон, с низким потолком и бетонным полом, где в стены были встроены огромные мозаичные панно.

— *Это работы нашей землячки — Нади Леже-Ходасевич, — сказала экскурсовод. Уникальные мозаики.*

Тогда Вера впервые услышала это имя. На панно были узнаваемые лица.

Шесть огромных панно из цветного стекла. Пикассо, Шагал, Леже, Ленин, Канвейлер И шестое — абстрактное, как вздох.

Вера моргнула, и видение исчезло. Она снова стояла на площади, под майским небом.

— Картина с мозаикой продаётся? — неожиданно спросил Прохор у художника.

Пожилый мужчина с седой бородой посмотрел на него поверх очков.

— Это портрет художницы Нади Леже.

— Сколько? — спросил Прохор.

Художник назвал сумму. Небольшую, даже скромную для Парижа. Прохор достал кошелек, отсчитал купюры, положил на край мольберта.

— Вы даже не торгуетесь? — удивился художник.

— Зачем? — Прохор пожал плечами. — Я не картину покупаю. Я покупаю её настроение. А торговаться за настроение — глупо.

— Вам знакомо творчество Нади Леже?

Вера словно проснулась от воспоминаний — сердце ёкнуло и забилось чаще.

— Да, — ответила она. — Но хотелось бы узнать о ней больше. Вы что-то знаете о ней?

Художник отложил кисть.

— Знал лично. Правда, был тогда мальчишкой. Мой отец работал в мастерской Леже, и я иногда бегал туда после школы. Надя всегда угощала нас чем-нибудь вкусным. Особенно запомнил её оладьи из картофеля.

— Это, возможно, драники.

— Такие вкусные были со сметаной.

Художник ненадолго замолчал, глядя куда-то в сторону, словно видел перед собой ту самую мастерскую, отца, молодую Надю с тарелкой горячих драников.

Он улыбнулся.

— Леже сначала сердился на Надю. Говорил: «Эта девчонка всё переставляет на моём столе». А потом привык. Она стала его ассистенткой, потом женой. Но для нас, ребяташек, она осталась той, кто могла бросить работу, чтобы показать, как правильно смешивать краски, или рассказать историю про снег, которого мы никогда не видели.

— А где можно увидеть её работы в Париже? — она перевела разговор в другое русло.

— В музее Майоля недавно была большая выставка, — сказал художник. — Но вы опоздали, она закрылась. А так её работы разбросаны по всему миру. А вы сами откуда будете?

— Из Беларуси, — ответила Вера. — С её родины. Там её помнят и знают её творчество.

Художник кивнул, и в глазах его мелькнуло понимание и уважение. Он помолчал, потом достал из кармана блокнот и написал адрес.

— Есть одно место, связанное с Надей. Квартира на улице Жакоб. Там она жила последние годы. Сейчас там архив, но если договориться

— Как договориться? С кем? — оживился Прохор.

— Там живёт её внучка — Анна Тенье. Она хранительница. У меня есть телефон. Скажите, что вы от меня, — он протянул листок.

Вера взяла листок, прочитала и убрала в карман.

— Спасибо, — сказала она художнику.

— Не за что, — улыбнулся тот. — Надя хотела, чтобы её помнили.

— А эта мозаика, — Вера кивнула на панно с женщиной и зонтом, — она откуда?

Художник улыбнулся.

— С фотографии. Надя любила этот снимок. Говорила: «Вот она я — пришла в Париж с одним зонтом, а прожила здесь с целым миром в сердце».

Вера посмотрела на мозаику, потом на художника — тот уже снова взялся за кисть.

— Мы идём туда, где нас ждут, — сказала она Прохору.

Он взял её за руку, и они медленно пошли к спуску с холма.

— По твоим глазам вижу — предчувствие уже загорелось, — заметил он.

— Это не предчувствие, — Вера сжала его руку. — Это память. Которая ждала, когда её позовут.

Погоня на Монмартре

Прохор вдруг замедлил шаг.

— Ты чего? — спросила Вера.

— Не знаю, — ответил он, оглядываясь через плечо. — Мне кажется, кто-то наблюдает за нами. Хотя нет, наверное, показалось.

Но он сжал её руку крепче и ускорил шаг. Вера тоже оглянулась. Площадь Тертр жила своей обычной жизнью: туристы, художники, дети с шарами. Но среди этой пёстрой толпы она сразу заметила двоих — мужчину в кепке и тёмной куртке и женщину с короткой стрижкой в яркой жёлтой куртке. Они смотрели в их сторону.

— Проша — Вера замерла.

— Не паникуй, — ответил он, не оборачиваясь. — Идём спокойно.

Они свернули в узкий переулок — Rue Norvins, где туристов было значительно меньше. Прохор прибавил шаг. Вскоре послышался торопливый стук подошв по булыжнику.

— Они идут следом, — сказала Вера.

Прохор потянул её в арку. Вера споткнулась, он подхватил.

— Сюда.

Они выскочили на Rue des Saules. Прохор обернулся. Из прохода, откуда они только что выбежали, неторопливо вышли эти двое. Мужчина достал телефон, кому-то что-то сказал и убрал его в карман. Женщина сунула руку в карман куртки и кивнула в их сторону.

— Они не отстали, — выдохнула Вера.

Прохор понял: это не случайные люди. Не воришки, не хулиганы. Держатся слишком ровно, движутся уверенно. Профессионалы.

— Бежим, Верочка, — сказал он коротко.

Они рванули вниз по Rue des Saules. Вера спотыкалась о вымощенную камнем дорогу, но Прохор тянул её за собой, не давая упасть. Навстречу, перекрывая узкий проход, шёл старик с маленькой собачкой. Увидев бегущих, он едва успел взять собачку на руки и закричал им вслед: «Attention!» Времени извиняться не было.

Прохор свернул в первый попавшийся двор, потом в подворотню — и они упёрлись в тупик.

— Чёрт, — выдохнул он.

Впереди была стена высотой в три метра.

— Назад, — скомандовал он, разворачивая Веру.

Но обратного пути уже не было. Проход перекрывала женщина. Ни ухмылки, ни злобы. Просто стояла, наблюдала.

Прохор отступил на шаг. В голове пронеслось: «Что им нужно?»

Мужчина появился сбоку, из-за угла. Зашёл не спеша, перекрывая единственный выход. Вера вжалась в стену. Кровь отхлынула от лица.

Женщина сделала шаг вперёд. Мужчина тоже двинулся — синхронно, будто репетировали.

— Стойте. Не двигайтесь, — приказала женщина. — Мы не причиним вам вреда.

— Что вам надо? — спросил Прохор. Голос звучал твёрже, чем он себя чувствовал.

— Мы хотим поговорить.

— А мы не хотим, — ответила Вера.

— Это не важно, — вступил мужчина. — Важно то, что у вас в руках.

Прохор инстинктивно прижал свёрток с картиной к себе. Женщина усмехнулась.

— Не это. Другое. Письмо от Анны Тенье.

Вера похолодела.

«Откуда они знают про письмо? — пронеслось в голове. — Неужели следили за нами в Минске?»

— Какое письмо? — начала она.

— Не надо делать вид, что вы не понимаете, мадмуазель, — перебил мужчина. — Не отдадите письмо, будут проблемы.

— Кто вы? Какие проблемы? — спросил Прохор, медленно отступая, закрывая собой Веру.

— Отдайте письмо — или мы заберём его после того, как вы не сможете сопротивляться, — спокойно сказала женщина, вытянув руку вперёд.

В этот момент в конце тупика, за спинами преследователей, раздался грохот. Кто-то выкатил мусорный бак из подворотни — старый, железный, с откидной крышкой, дребезжащей на каждом булыжнике. Из-за него показался мусорщик в заляпанном краской фартуке.

Прохор напрягся. Он успел заметить то, что ускользнуло бы от обычного взгляда: мусорщик катил бак слишком ровно, без обычной для такой тяжести сбивчивой походки. Не напрягался, не кричал. Он словно нёс пустую картонку, а не катил железяку под центнер весом.

Мусорщик увидел компанию, замер на секунду — и Прохор увидел его глаза. Быстрые, цепкие. Потом тот недовольно буркнул что-то себе под нос, поправил фартук и покатил бак дальше — прямо на мужчину в тёмной куртке.

— С дороги, месье, — сказал он нарочито грубо, но в голосе Прохор расслышал стальные нотки.

Мужчина в куртке шагнул в сторону, освобождая проход. Мусорщик поравнялся с ним — и резко толкнул бак, сбивая того с ног. Прохор заметил, как мусорщик на мгновение перенёс вес на левую ногу — правая чуть подогнулась. Железная крышка со звоном ударилась о стену. Второй рукой мусорщик перехватил запястье женщины, прижимая её к стене, но не грубо, а неожиданно мягко, словно защищая. Илза вдруг замерла, глядя на мусорщика, и на секунду забыла, зачем она здесь.

Прохор понял: шанс.

Он схватил Веру за руку и рванул в образовавшуюся щель. Они выскочили из тупика, побежали в первый поперечный проход. За спиной гулко разнеслось эхо шагов и отрывистые крики — уже не французские, а русские: «Стойте! Хуже будет!»

Прохор тянул Веру за собой, не позволяя ей остановиться. Они долго петляли по переулкам, не разбирая дороги.

— Туда! — выдохнула Вера, показывая на приоткрытую дверь какого-то дома.

Они нырнули внутрь. Обычный подъезд — немного грязноватый, с почтовыми ящиками и старым громыхающим лифтом. Прохор захлопнул дверь подъезда, задвинул хлипкую щеколду. Снаружи слышались шаги. Пробежали мимо.

— Не заметили, — прошептала Вера.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.